



66, Abbey Foregate
Shrewsbury.
31-8-45

НИКОЛАЙ ШПАНОВ
ИЗ ПОХОЖДЕНИЙ НИЛА КРУЧИНИНА

МЕДВЕЖАТНИК

...atives who have
or longer.
...ve pleasure in sending one of these amband's
... the same time I should like to express to
... work you have done for
... that the



Из походов Нила Кручина

Николай Шпанов

Медвежатник

«СОЮЗ»

1955

Шпанов Н. Н.

Медвежатник / Н. Н. Шпанов — «СОЮЗ», 1955 — (Из походов Нила Кручинина)

ISBN 978-5-6050127-4-0

Респектабельный господин Иван Петрович Паршин – владелец небольшой лесной биржи на Сретенке, а по совместительству главарь шайки, грабящей кассы и вскрывающей сейфы различных акционерных обществ, живет припеваючи. Красавица жена, куча денег, дорогие рестораны – не жизнь, а праздник. Но со свержением монархии и приходом революции все меняется. Новая власть всерьез берется за воров и грабителей всех масштабов и оттенков. И от былой сытой жизни не остается и следа.

ISBN 978-5-6050127-4-0

© Шпанов Н. Н., 1955

© СОЮЗ, 1955

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая | 8 |
| Курьерский Петербург – Москва | 8 |
| «Гусар смерти» | 12 |
| Дом в Бутырках | 15 |
| Лесная биржа «Иван Паршин» | 17 |
| «Славянский базар» | 19 |
| Оба куркинские | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 25 |

Николай Шпанов

Медвежатник

© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»

* * *

Примерно через полгода после того, как увидел свет маленький сборник «Искатели истины», где описывалось несколько эпизодов из следственно-розыскной и криминалистической деятельности Нила Платоновича Кручинина и его молодого друга Сурена Тиграновича Грачьяна, автором этих строк было получено следующее письмо:

«Уважаемый товарищ!

Прочел «Искателей истины». Насколько мне не изменяет память, там все на месте: эти частные случаи описаны именно так, как происходили.

Тем не менее считаю себя вправе просить Вас о некотором исправлении в общей постановке вопроса. По-моему, всю огромность принципиальной разницы в деле борьбы с преступностью в буржуазном обществе и у нас необходимо показать читателю не только в декларациях от автора или в высказываниях действующих лиц. Нужно рассказать нашим людям и о том, как обстояло это дело во времена царизма и как обстоит теперь: обнажить разницу в самом существовании преступности, в ее распространении и формах существования. Преступность как наследие прошлого существует. Воспитательная работа нашего общества еще далеко не достигла того, чтобы сделать ненужным ни наказание, ни профилактику преступления.

Поэтому я позволю себе приложить к сему список нескольких интересных «дел». В этом списке особняком стоит «Дело Паришина». На него стоит обратить внимание не только потому, что оно интересно с розыскной точки зрения. На его примере можно показать широкому кругу наших молодых людей, что было и чего больше не может быть. Преступность пыльным букетом расцвела в былые времена потому, что само правосознание буржуазии способствовало этому развитию. Ведь и хищническая деятельность буржуазии была не чем иным, как преступлением. Вы, конечно, помните мысль Энгельса о том, что если один человек наносит другому физический вред, и такой вред, который влечет за собою смерть потерпевшего, то мы называем это убийством, а если убийца заранее знал, что вред этот будет смертельным, то мы называем его действие умышленным убийством. Если же общество ставит сотни пролетариев в такое положение, при котором они неизбежно обречены на преждевременную неестественную смерть, на смерть столь же насильственную, как смерть от меча или пули, если общество само знает, что тысячи должны пасть жертвой таких условий и все же этих условий не устраняет, то это еще более страшное убийство, чем убийство отдельного лица, – это убийство скрытое, коварное, от которого никто оградить себя не может, которое не похоже на обычное убийство только потому, что не виден убийца.

У некоторых наших писателей существует манера представлять дело так, будто уже само буржуазное правотворчество, являющееся зеркалом буржуазного правосознания, не содержит в себе норм, ограничивающих

преступления против небуржуазных классов, против пролетариата в целом и против отдельных его представителей. Послушайте меня, не становитесь на такую точку зрения. Ее поборники идут по линии наименьшего сопротивления, они пренебрегают фактами, отбрасывают, как якобы несуществующее, то, что им неудобно в буржуазном праве. Это делается вместо того, чтобы с фактами в руках доказать нечто гораздо худшее – что само же буржуазное общество, в лице своих органов расследования и суда, открыто идет на нарушение, вернее говоря, на обход писанных лицемерных норм существования, не обязательных для самой буржуазии.

Для главарей гангстеризма закон о наказуемости грабежа и убийства оказывается в такой же мере обходимым рифом, как для главарей официального монополистического капитала какой-нибудь антитрестовский закон.

Такое положение не успело создаться в дореволюционной России. В ней исполнительная власть не успела поставить знак равенства между воротилами банков и главарями крупных грабительских шаяк. Тем не менее питательная среда для широкой деятельности искателей легкой наживы всех планов и масштабов существовала. Ее создавали не только сами условия капитализма, но и продажность полицейского аппарата империи. С тех пор утекло много воды. Жизнь профессионального правонарушителя царских времен не стоит даже сравнивать с условиями его существования в СССР – настолько сузился «круг деятельности» этих рыцарей ночи.

Теперь преступник – «профессионал» – у нас явление гораздо более редкое. А есть преступные «специальности», почти вовсе вымершие. Одной из таких специальностей является «медвежатничество», то есть вскрытие несгораемых касс и сейфов.

В заключение смею Вас просить исключить мое имя из всего, что будете в дальнейшем писать. Сожалею, что уже нельзя этого сделать с отчетами, которые Вы успели опубликовать. Но дальше – не нужно. В нашей среде есть много товарищей, гораздо более сведущих и талантливых, нежели Ваш покорный слуга. В их деятельности Вы найдете примеры куда более интересной борьбы с преступностью, борьбы за твердый советский правопорядок, за чистоту нашего общества.

Примите мой самый дружеский привет.

Полковник Н. Кручинин»

К письму Н.Кручинина был приложен перечень двадцати дел, представлявших ему достойными внимания. Первое же ознакомление с некоторыми из них показало, что тот, кто занялся бы их восстановлением и обработкой, не заслужил бы ничего, кроме признательности читателей.

Материал «Дело Паршина» оказался действительно увлекательным, несмотря на всю свою невероятную хаотичность – ни системы, ни даже хронологии.

Работа оказалась трудной еще и потому, что «дело» уходило своими корнями в далекие времена и, чтобы показать работу над ним советских оперативников, пришлось заглянуть в уголовное подполье Российской империи. Это сломало хронологическую четкость повествования, и автор должен просить у читателей прощения за некоторую конструктивную сложность настоящего отчета. Зато в деле о «медвежатнике» не осталось ни одной незаполненной строчки, ни одного неосвещенного уголка.

Автор приносит Нилу Платоновичу Кручинину извинения по поводу того, что не последовал его просьбе снять его имя. Правда жизни остается правдой. Строго следуя ей во всем, что написано дальше, автор не счел нужным подменять и имена действующих лиц.

Глава первая

Курьерский Петербург – Москва

– Ну, Колюшка, мне пора, – сказал Федор Иванович, защелкнул крышку золотых часов и опустил их в жилетный карман.

Слова Федора Ивановича были обращены к сидящему рядом с ним на диване сыну – гимназисту лет пятнадцати, влюбленно-восторженными глазами глядящему на отца.

Федор Иванович поднялся и истово перекрестил сына.

– Христос с тобой... Будь умником.

Мальчик взял в обе свои маленькие руки пухлую, короткопалую руку отца и звонко поцеловал ее.

– За хозяина остаешься, – и Федор Иванович неторопливо обвел рукою вокруг себя.

Извозчик вез Федора Ивановича Вершинина с Восьмой линии Васильевского острова на Николаевский вокзал. В ногах извозчика лежал небольшой чемодан желтой кожи, сам же Федор Иванович, откинувшись на спинку сиденья и поставив между ногами трость с большой рукоятью из слоновой кости, поглядывал на панели.

Взгляд его особенно внимательно останавливался на женских фигурах, и при этом широкое, по-модному бритое лицо Федора Ивановича сохраняло самое серьезное выражение. Никто не угадал бы игривых мыслей этого сорокалетнего мужчины в шубе с воротником и отворотами из великолепного барашка. На голове Федора Ивановича красовался новенький котелок, подчеркивавший солидность всей его фигуры.

Справа Нева дышала еще холодом невскрывшегося льда, а копыта лошади уже месили весеннюю хлябь грязного снега. Федор Иванович подставил лицо дувшему с реки колючему ветру. Он ничего не имел против этого пронзительного питерского ветра. Вообще, он любил в этом городе все. Москва?.. Нет, Москвы он не любил и ездил в нее только по необходимости. Там было поле его деятельности. Там дни были наполнены только суетой и страхом. В Москве им неотступно владела боязнь сорваться, сделать ложный шаг. Тогда полетит в тартарары все, что есть у него здесь, в Питере, и там, в недавно купленной тверской усадьбе «Скворешники». Эта усадьба была венцом его мечтаний. Но пока еще даже в этом новом для него гнезде Федор Иванович не чувствовал покоя. Даже там он постоянно находился во власти страха и неверия в реальность происходящего. Он твердо решил, что для того мира, в котором он вращался в Москве, «Скворешники» будут такой же тайной, какую был сын Колюшка.

Пролетка взобралась на крутой подъем разводной части Николаевского моста и поравнялась со стоящей на ее развилине часовней Николая-угодника. Федор Иванович отвел взгляд от реки и, обернувшись к освещенному большому зеркальному стеклу часовенки, левой рукой чуть приподнял котелок, а правой сделал несколько быстрых, мелких крестиков, незаметных со стороны.

Эта многолетняя привычка означала у него как бы прощание с Петербургом. Ежели ему доводилось уезжать, не миновав часовенки, Федор Иванович чувствовал себя так, словно лишился благословения чудотворца – покровителя странствующих. А Федор Иванович был суеверен. Он не любил начинать дело, не перекрестясь. Его наблюдения говорили: всякий раз, когда он покидал родной город, не переглянувшись со святым Николаем, дело у него либо вовсе срывалось, либо кончалось не так, как он того хотел.

На Невском, возле Екатерининского канала, Федор Иванович прикоснулся тростью к спине извозчика, и тот послушно остановился.

– Подождешь, – барственно бросил Федор Иванович извозчику и перешел на правую сторону проспекта. Там, в маленькой кондитерской, над скромной дверью которой было золотыми буквами выведено по-французски единственное слово «Рабон», Федор Иванович выбрал нарядную коробку и приказал наполнить ее глазированными каштанами. Эти каштаны – специальность французского кондитера – тоже были для Федора Ивановича чем-то вроде благоговения Николы-угодника. Без них он не любил приезжать в Москву. Такова была многолетняя традиция, установившаяся в его отношениях с живущей в Москве младшей сестрой Катей.

Когда у вокзальной лестницы носильщик, подхватив чемодан, потянулся к пакету с каштанами, Федор Иванович подал ему его с тем же самым наставлением, какое неизменно делал всякий раз у этих ступеней: с пакетом следовало-де обращаться с осторожностью!

Федор Иванович не любил брать билет на городской станции. Сдав вещи носильщику, он всегда сам подходил к кассе. По курьерскому поезду, которым ехал Федор Иванович, и по всему его виду с уверенностью можно было сказать, что едет он не иначе как до самой Москвы. Не в Бологом же, в самом деле, сойдет человек в эдакой отличной шубе, держащий под мышкой великолепную трость, человек, который так ловко, не стягивая с руки перчатки, вынимает из портмоне шестнадцать рублей за билет!.. Все это было так. Но всякий раз Федор Иванович сам наклонялся к окошечку кассы и доверительно, так, чтобы его мог слышать только кассир, требовал себе билет первого класса до Москвы, притом непременно с нижней плацкартой.

В вагоне Федор Иванович осваивался быстро. Совершив два-три конца по коридору и перекинувшись несколькими словами с проводником, он уже в точности знал, кто в каком купе едет, и в зависимости от этого завязывал интересующие его знакомства. Из этих знакомств он решительно никогда не извлекал какой-либо заметной для других пользы: он даже, как правило, не принимал участия в роббере винта, который сам же организовал. Быстро и умело пере-знакомив между собою пассажиров, едущих в двух соседних купе, он с уверенностью железнодорожного завсегдатая растворял разгораживающую эти купе складную дверь-переборку.

Самое большее, что он себе позволял в разгар роббера, – подсесть к кому-либо из игроков и дать несколько безошибочных советов или с видом знатока покритиковать неудачный ход.

– Помилуйте, сударь мой, – солидным баритоном говаривал в таких случаях Федор Иванович, – кто же это при полном ренонсе в пиках да при такой коронке объявляет малый шлем? И себя, и партнера подводите. Если уж у меня на руках...

И Федор Иванович обстоятельно объяснял, как бы он поступил на месте игрока. Объяснение бывало дельным и поднимало авторитет Федора Ивановича в глазах игроков.

Располагаясь на этот раз на бархатном диване вагона, Федор Иванович вспомнил, как он уезжал из Питера, ехал в поезде и приезжал в Москву последние разы. Бог даст и теперь Первопрестольная встретит его суетой белых передников, сочным свистком толстого обер-а и бесконечной вереницей веселых московских «ванек». Бог даст... Но... мало ли что может случиться за шестнадцать часов пути? Все в руке Божьей!.. Пока, правда, все шло преотлично: разведка произведена, знакомства завязаны, выбор сделан, и, что греха таить, выбор, кажется, неплохой.

Традиционный винт организован, и винтеры до сих пор разыгрывают неподатливый роббер уже без советов Федора Ивановича. Сам же организатор винта, уединившись в своем купе с приятным попутчиком, ведет неторопливую беседу о том, о сем.

Попутчик его, крупный мужчина в несколько старомодном черном сюртуке, шелковые лацканы которого до самого живота скрыты за окладистой седой бородой, говорит не спеша, негромким густым баском с хрипотцой. Уже в самом баске этом чувствуется, что человек знает цену себе и каждому своему слову.

– Нет уж, государь мой, – мягко перебил его Федор Иванович, ласково прикоснувшись кончиками пальцев к коленке собеседника, – тут вы меня не убедите: никогда московскому

воспитанию не достичь петербургского уровня. В Питере, скажу я вам, самый воздух действует, так сказать, воспитующе.

– Однако же, – пробасил старик, – ежели имение ваше, как изволите говорить, в Тверской губернии, то и тяга ваша должна быть к нашей Белокаменной.

– Когда мне, не в качестве отставного коллежского советника, а как тверскому помещику, – Федор Иванович с особенным удовольствием произнес это слово, – приходится подумывать о брэнной стороне существования, сознаюсь: тоже забываю и дворянство, и чины – и, – Федор Иванович округло взмахнул, – к вам, на Никольскую, на Ильинку...

– А по какой части в Москве дела ведете?

– Да разные, знаете ли. Вот теперь хочу маслобойный завод ставить, а то до сих пор лен-батюшка гнал меня к вашим толстосумам.

– Лен, говорите? – старик покрутил бороду. – Как же это вы моих рук-то миновали?

– А, простите, с кем имею честь?

Старик с усмешкой назвал одну из самых известных мануфактурных фамилий России. Выяснилось, что едет он из Пскова, где запродавал партию белого товара. При этом сообщении старик машинально притронулся концами пальцев к груди, где сюртук его заметно оттопыривался.

Заметив проходящего по коридору проводника, Федор Иванович приказал стелить. Собеседники вышли в коридор, и приятное знакомство закончилось на том, что мануфактурщик положил себе в карман визитную карточку Федора Ивановича.

Проводник вышел из купе.

– Постелька готова-с.

Попутчики распрощались, и мануфактурист важно удалился на свое место.

Утром, перед Москвой, Федор Иванович вставал обычно одним из первых, чтобы не пропустить пирожки с вязигой, преотменно готовившиеся в клинском буфете.

В Москве до Боярского двора Федор Иванович заехал к сестре Кате. Вместе с каштанами он вручил ей для сбережения небольшой пакет, плотно увязанный шпагатом. Что в пакете, он не сказал и знал, что, по установившемуся между ними безмолвному уговору, сестра любопытствовать не станет. Что касается мануфактуриста, то лишь в середине дня, выкинув на конторку толстый бумажник и приказав сыну сдать артельщику его содержимое, он узнал, что пухлый бумажник набит плотными пачками чистой бумаги, в которых лишь верхние листки были настоящими «петрами» и «катюшами».

Уже в Боярском дворе, в гостиничной парикмахерской, когда мастер нежно водил по щекам Федора Ивановича бритвой, то и дело заботливо осведомляясь «не тревожит ли», тому пришло вдруг в голову, что, может быть, именно сейчас вот, в эту самую минуту, обворованный купец раскрыл бумажник и начинает перебирать в уме все подробности своего путешествия. Он представлял себе, как купец думает, думает, трет морщинистый лоб, теребит седую бороду и час за часом, минуту за минутой вспоминает поездку, вспоминает его, «коллежского советника» и помещика Вершинина...

Тут полные щеки Федора Ивановича начали вздрагивать так, что мастер в испуге отвел бритву. Федор Иванович растерянно пробормотал что-то о нервах.

Страх делал его память такой острой, что он в точности восстанавливал теперь каждый свой шаг в вагоне, каждое слово.

Вспомнив, что он вручил мануфактуристу визитную карточку, Федор Иванович почувствовал, как у него холодеют колени. Но тут же он себя успокоил: эта карточка его еще никогда не подводила. Купец допустит все, что угодно, кроме того, что вор мог вручить ему свою карточку с адресом. Такого еще не бывало. Нет, нет, никогда не бывало!

А все-таки, может быть, на будущее время воздержаться от этих карточек? Чем черт не шутит?..

Федор Иванович закрыл глаза и откинулся в кресле.

– Кажется, унялось... можно бриться.

Ласковые прикосновения парикмахера мало-помалу привели в порядок расхолодившиеся нервы.

– Позвольте тройной, брокер, цветочный, кельнский?.. – Под укоризненным взглядом клиента мастер смущенно пробормотал: – Виноват, запомнил-с...

Федор Иванович никогда не употреблял одеколона после бритья. Он слишком любил гладкую розовую кожу на округлых своих щеках, чтобы портить ее одеколоном. Только чистая холодная вода способствует сохранению свежести.

С кресла Федор Иванович поднялся чуть-чуть утомленный воспоминанием об украденных деньгах. Но он знал, что это быстро пройдет. Состояние не было для него новым, повторялось почти после каждого «дела». Особенно ежели перед тем бывал длительный перерыв в работе.

Федор Иванович велел приснуть на себя духами «Кожа испанки». Он их очень любил, но пользоваться ими позволял себе только в Москве, на работе. Дав мастеру гривенник на чай, он уже в отличном настроении поднялся в номер.

Номер был невелик и скромн. Федор Иванович не любил попусту бросать деньги. Считал, что уже самого того факта, что он живет в Боярском дворе, как прикрытия, совершенно достаточно. Пускать пыль в глаза ценою номера нет надобности. Ежели же, не дай бог, что-нибудь случится, то не все ли равно, в каком номере – в большом или маленьком?

Опустившись в кресло возле телефона, Федор Иванович некоторое время в задумчивости ногтем сбивал зацепившиеся за рукав волоски, ускользнувшие от щетки швейцара парикмахерской. Потом позвонил и приказал подать список городских телефонов.

«Гусар смерти»

*Том был мальчик хоть куда,
И служил он в чайном магазине...*

Роман Романович шелкнул пальцами и, притопывая носком лакированного сапога с кокардой у коленки, грассируя, пропел еще одну строку из запомнившейся новой песенки. Он впервые слышал вчера Изу Кремер. Понравилось.

Р-ра-а-зносил покупки по домам в корзине...

Он прервал себя на полутакте и приотворил дверь. Совсем другим, зычным голосом, в котором чувствовалось умение командовать, крикнул:

– Степан, черт тебя подери!

– Бегу-с.

Коридорный вбежал в номер и с ходу подал черную венгерку.

– Ни пушинки-с! – угодливо сказал он и, лизнув себе ладонь, провел ею по спине Романа Романовича.

Венгерка сидела складно, обрисовывая сухую фигуру Романа Романовича. Кабы шнуры на груди были не черными, а серебряными да на плечах были погоны Александрийского гусара!.. Не случайно же на визитных карточках Романа Романовича Грабовского мелким шрифтиком внизу было набрано: «Корнет в отставке». И без этого всякий с первого взгляда опознал бы в нем бывшего кавалериста, не имеющего сил расстаться с родной венгеркой.

Впрочем, дело было не только в любви к мундиру. Роману Романовичу давным-давно пришлось снять его из-за некрасивой истории с пропажей денег у товарища по полку. Куда большую роль в его приверженности к подобию военной формы играло то, что это одеяние, сразу изобличавшее в нем бывшего гусара, служило неплохой маской. Она не раз отводила от Романа Романовича руку наружной полиции. А профессия Романа Романовича требовала в этом смысле особой предусмотрительности. Он давно был своим человеком в компании самых отчаянных московских аферистов – кукольников и банковских воров. Немало денег перекачало через руки Романа Романовича из портфелей незадачливых купцов и артельщиков в кассы тотализатора и в бездонные карманы цыганок Петровского парка. Все знали там бесшабашного гусара, пропивающего наследство какой-то саратовской бабушки.

Нынче Роман Романович был в отличном расположении духа. Всего два дня, как удалось наколоть отменное дельце: в конторе Волжско-Камского банка судьба подарила ему ни много ни мало шесть тысяч рубликов. Дело было так.

Тщательной разведкой было установлено, что одному зарядьинскому канатчику, поставившему веревки чуть ли не всем пароходствам, предстояло получить в банке значительную сумму для расплаты с мелкими поставщиками пеньки. Этот канатчик был избран ворами по следующим соображениям: Грабовскому удалось познакомиться с ним на бегах. Туда часто езживал купец. Грабовский сблизился с ним, подав несколько удачных советов по части тотализатора. Дальнейший контакт поддерживался тем, что каждый божий день – надо, не надо – Грабовский стал захаживать в трактир Егорова, что в Охотном ряду, и есть там блины и рыбу, которыми славился трактир. Делал это Роман Романович только ради того, чтобы держать под наблюдением канатчика – завсегдатая этого трактира. Грабовский установил, что купец ходил в банк один. Это было удобно во всех отношениях. Способ, по которому работал Грабовский со своим помощником, сводился к мгновенному отвлечению внимания получателя денег от его

портфеля. Тогда этот портфель подменялся точно таким же, заранее изготовленным и набитым чистой бумагой.

План был разработан во всех деталях. Все привычки и повадки купца были учтены. Порядки Волжско-Камского банка давно известны. Оставалось одно: изготовить копию портфеля, с каким канатчик ходит за деньгами. И вот тут-то план мошенника едва не уперся в тупик: оказалось, что ежели денег к получению предстоит немного, купец попросту набивает деньги в карманы, ежели же сумма велика, то кладет их в дедовский кошель, сшитый из прочной, чуть ли не подошвенной, кожи и по виду смахивающий на переметную сумочку Ильи Муромца. Об эту-то сумочку и споткнулись было намерения Грабовского. Где взять ее копию? А копия должна быть точной, иначе подмена будет сразу обнаружена.

С таким казусом Грабовский столкнулся впервые. До сих пор ему доводилось иметь дело с покупными портфелями. Сколь бы они ни были разнообразны – всегда удавалось найти копию. В крайнем случае требовалось только подогнать цвет.

Так что же – отказаться от плана? Нет, на это Грабовский не пойдет. Слишком много времени было убито на канатчика. Слишком много денег просажено с ним на бегах и проедено на блины с балыками.

Начинать новую разведку – за новой жертвой – не было времени. Грабовский уже сидел без гроша. И он решил: пан или пропал! Либо окончательно провалит дело, либо добудет копию сумки. Хотя бы на одну ночь, хоть на несколько часов, но висевшая на гвозде в лабазе канатчика сумка должна оказаться в руках отставного корнета.

Было дано знать на Хиву. Один из наиболее квалифицированных рецидивистов-домушников получил задание: вечером, перед самым закрытием лабаза, сумка должна быть украдена; наутро, едва лабаз будет отперт и прежде чем хозяин успеет заметить отсутствие сумки, она должна быть на месте. Вор-домушник, которому через посредника посулили хорошее вознаграждение, не стал вдаваться в обсуждение странного заказа. Целую ночь сумка находилась в распоряжении шорника, изготовившего с нее точную копию.

Вор даже не знал, на кого работает. Грабовский был спокоен: тут его не могут выдать.

Два дня ушло на то, чтобы затереть новую сумку до состояния сильной подержанности, в каком находился подлинник.

После этого оставалось ждать, когда канатчик пойдет за деньгами.

Когда он явился в банк, получил свои двенадцать тысяч и, уложив их в дедовскую сумку, в последний раз склонился было к окошечку кассы, чтобы проститься с кассиром, за его спиной раздался хорошо знакомый голос отставного гусара:

– Здравия желаю, Ферапонт Никонович! Обратите внимание, какой-то хам плюнул вам на поддевку.

Купец на мгновение машинально оторвался от стойки, чтобы глянуть на свою полу, – даже не обтереть ее, а только глянуть. Этого мгновения было достаточно: вместо сумки, наполненной деньгами, около его локтя лежал дубликат, набитый чистой бумагой. Это была работа сообщника Грабовского, стоившая корнету ровно половины куша – шести тысяч рублей. Но и оставшиеся на его долю шесть тысяч были достаточным вознаграждением за игру на скачках да за месяц неумеренного блиноедения.

На следующий день Роман Романович был на обычном месте в трактире Егорова. Он сидел за столиком по соседству с «собственным» столом канатчика и делал вид, будто рассматривает посетителей. Грабовский знал, что до половины второго, когда половой за минуту до прихода канатчика в последний раз для виду обмахнет салфеткой белоснежную скатерть и сверкающий прибор, оставалось еще, по крайней мере, пять минут. Но всякая дрянь уже лезла в голову экс-корнета. Черт знает чего только ни могло случиться! Что, ежели купчине придет в голову поинтересоваться, зачем это он, отставной корнет Грабовский, был в тот день в Волжско-Камском банке? Какие такие были у него там дела? А что ежели (хотя это и малове-

роятно) купец заметит, что сумка-то не та, не дедовская? Хотя нет, этого не может быть, Роман Романович лично проверил наличие в ней деталей той, старой, вплоть до непарных пряжек на застежке, толстой дратвенной починки на углах...

Ну, а ежели все же?

Пойдет розыск: откуда взялась да кем скопирована?..

Впрочем, и это не страшно: ищи теперь ветра в поле...

К тому времени, когда канатчик наконец показался в зале, Грабовский успел успокоиться. Но тут, при виде внимательных сердитых глаз купца скользкий страх снова заполз в корнетскую душу.

Понадобилось напряжение всей воли, чтобы быть таким же, как всегда, – беззаботным любителем блинов, лошадей и цыганок.

Кажется, все обошлось.

Но даже на следующий день Грабовский успокоился лишь тогда, когда канатчик сам предложил после обеда поехать на бега, чтобы «заиграть обиду».

Нынче, на третий день после кражи, Роман Романович впервые позволил себе уйти от Егорова прежде, чем закончил обед канатчик. Нынче он не желал наедаться блинами. Хотелось снова, как прежде, «разговориться» у Оливье, пустить первую «канатную» «кату» в обмен на все то, что может дать «порядочному человеку» французская кухня.

Роман Романович избежал к себе в «Мадрид» и, полежав с часок, принялся одеваться. Он стоял уже перед зеркалом, надевая черную фуражку с белыми кантами и с кокардой, особым образом смятую, такую мягкую, что ее можно было зажать в кулак, а отпустишь – она снова как новая. А за ним в нескольких шагах, умильно склонив голову, с распахнутой николаевской шинелью в седых бобрах стоял Степан. Но тут-то Романа Романовича и позвали к телефону.

Разговор был недолгим, но разрушившим планы Грабовского.

– Отставить! – крикнул он Степану и с досадой швырнул на подзеркальник фуражку. – Штатскую тройку!

Пока Степан готовил платье, Грабовский сбрасывал венгерку и шелковую рубашку, неотрывно глядя на себя в зеркало. Вдруг он остановился и подошел к своему отражению так, что чуть не прикоснулся к его носу своим собственным. Он глядел так, что можно было подумать, будто видит себя впервые или, по крайней мере, после долгой разлуки.

Сощурившись, он потрогал пальцем щеку и даже притронулся к мешку под глазом. Кожа была дряблой, нездоровой. Волосы, взъерошившиеся, когда он снимал рубашку, оказались жидкими, липкими от брильянтина. Упавший в зеркало из-за спины Грабовского луч солнца с ненужной ясностью подчеркнул, что лицо у Романа Романовича желтое и черты его не только некрасивые, а даже неприятные: нос слишком длинный, красный, губы тонкие, злые и противного синеватого цвета. А глаза... Дойдя до оценки своих мутных, подернутых слезой глаз пьяницы и развратника, Грабовский отвернулся и злобно сплюнул. Он себе не понравился. И он знал, что больше всего изматывает страх, отвратительный липкий страх, неотступно преследующий его в первые дни после каждого «дела».

«От этого и рожа делается желтее лимона, и глаза слезятся, и волосы лезут, как у отбракованного мерина», – подумал Грабовский.

Дом в Бутырках

Бутырские дворники хорошо знали сумрачную фигуру Петра Петровича Горина. Хотя власть его не распространялась за пределы принадлежавшего ему столь же мрачного, как он сам, четырехэтажного дома, но все дворники при его появлении исправно ломали шапки, а городские отдавали честь. Горин славился на Бутырках не только крутостью нрава, но необыкновенной скарденностью и умением за грош выжимать из своих служащих такое, чего другой не возьмет и за целковый. Он не желал знать ни плотников, ни водопроводчиков, ни маляров. Все ремонтные дела по дому должны были справлять дворники. А так как дворников в доме было только двое и весь день у них уходил на разноску дров по квартирам, уборку двора и улицы, то на иные работы оставалась только ночь. И вот в то время, как один из них отсыпался на дежурстве под воротами, второй, вместо отдыха, возился со всякого рода починками. От этого в доме стоял по ночам шум, досаждавший жильцам и возбуждавший их недовольство. Иные квартиранты, прожив уговоренный год, а то и не дожив его, съезжали. В доме всегда пустовало несколько квартир.

В этот день Петр Петрович, как и всегда, обойдя двор, вышел за ворота. Там он стоял несколько минут, хмуро оглядывая улицу. Приняв поклоны соседних дворников с таким видом, словно это были его люди, и сплюнув сквозь зубы, он побрел домой. Под тяжестью его большого тела прогибались две толстые доски, проложенные поперек двора, поверх слякотной каши талого снега. Двор был узкий, темный, солнце не проникало в него никогда, и в углах снег держался до июня. Хозяин не разрешал тратить дрова на снеготаялку, пока околоточный не начинал клясться, что дольше терпеть не может и готов отказаться от очередной месячной трешки, лишь бы не нажить неприятностей.

По двору Петр Петрович бродил в глубоких «поповских» ботиках, чтобы иметь возможность сойти с досок и заглянуть во все углы своего владения. Поверх заношенного пиджака, а иногда и просто на исподнюю рубаху, у него бывало надето рыжее от времени драповое пальто, на голове – барашковая шапка, в которой серело уже немало плешей и молеедин. Лицо у него всегда было сумрачное, недовольное, маленькие светлые глазки глядели злобно из-под клочковатых бровей. Бороду Петр Петрович брил. Но так как сам он бриться не любил, а цирюльник стоил пятак, то щеки его почти всегда были покрыты неопрятной рыжей щетиной. В сочетании с растрепанными рыжими же усами щеткой эта щетина придавала его лицу совершенно разбойничий вид.

Постояв под воротами, пройдясь по двору и отругав дворников, Горин сбросил у черного подъезда ботики и, отдуваясь, поднялся по загаженной котами темной лестнице на второй этаж, где была расположена его хозяйская квартира. Квартира была велика, но производила впечатление донельзя тесной, так как ее сплошь заставили мебелью.

Мебель была всякая: дрянная, Сухаревской работы, собственная, и более добротная, оставшаяся от согнанных за неплатеж жильцов. На буфетах, на столах, шкафах и этажерках стояло много никчемных, таких же дешевых и дрянных, как сама мебель, безделушек.

Петр Петрович принадлежал к числу тех воскресных завсегдаеи Сухаревки, что хаживали покупать «на грош пятаков», воображая, будто им действительно удается счастливо приобретать раритеты. В предметах искусства он ничего не смыслил, но покупать их любил страстно. Он полагал, что покупает за полтинник то, что стоит красненькую, не подозревая, что даже его полтинник – цена непомерно высокая для завали, которую он приносил домой.

Квартиру свою Петр Петрович называл «музеем» и так искренне верил в ценность своих сокровищ, что никого посторонних в этот музей не пускал: как бы не обокрали.

Чем дальше, тем в квартире становилось тесней и душней от все нараставших груд ненужных вещей. А Горин все нес их и нес. Дворники говорили, что он и по ночам возился с разборкой и перестановкой этой дряни.

Вся семья Петра Петровича состояла из жены – оплывшей жиром и одуревшей от безделья бабы, лет на десять старше мужа.

Никто – ни всезнающие домовые кумушки, ни востроглазые татары-дворники – не знал, что эта игра в любовь к мусору у Петра Петровича не больше как притворство. Он только ловко прикрывал ею занятие, которому отдавался по ночам в каморке, хорошо замаскированной шкапами и обоями и не имевшей видимого входа.

В тайну ночных занятий Горина не был посвящен никто. О самом существовании потайной каморки знал один-единственный человек – его жена. Конечно, те немногие контрагенты Горина, с которыми он имел деловые отношения, могли бы догадаться о тайне этого чулана. Но Горин вел свои дела так, что эти контрагенты не знали не только его адреса, но и настоящего имени. Раз в неделю на свиданиях в окраинных трактирах он вручал порознь четверем личностям по двести рублей двадцатипятирублевыми бумажками своего изготовления и получал в обмен по сто рублей. Достоинство купюр, какими он получал эту сотню, Петра Петровича не интересовало. Зато он тщательно проверял их подлинность.

Но этот промысел Петр Петрович считал для себя побочным, или, как называл его мысленно, «приватным». Душа его была в том основном, что составляло цель его жизни, – в домовладении. Четыреста добротных царских рублей в неделю были его рентой. Скажи ему кто-нибудь, что завтра прекратится этот доход, Петр Петрович воспринял бы это не иначе, нежели министр финансов сообщение о том, что земля разверзлась под Петропавловкой и поглотила монетный двор. Такая возможность представлялась Горину абсурдом.

Полторы тысячи рублей в месяц вместе с квартирной платой жильцов составляли основу основ его равновесия. Целью, вожделенной и уже не такой далекой, был для Петра Петровича момент, когда он приколотит доску со своим именем на облюбованном в центре города большом доме с тремя подъездами на улицу и с двумя дворами. Что тогда будет с его чуланом? На этот вопрос Петр Петрович не мог дать ясного ответа даже себе самому. Стоило его мечтам дойти до пункта о «приватном» промысле, как он начинал вилять перед самим собой. Один голос, громкий, басистый и уверенный, призывая в свидетели Господа Бога, заверял, что тогда – всему конец: «Пожгу все». Но другой, не столь громкий, но вьедливый, быстрым шепотком успевал привести тысячу контрдоводов. И вопрос так и оставался нерешенным...

Закончив обход владений, Петр Петрович поднялся к себе и уселся за чай, собранный дворничихой. Петр Петрович не предъявлял никаких требований к сервировке, но чай пить любил долго, истово, пока не остывал самовар. При этом он съедал почти неправдоподобное количество бубликов. Бублики подавались горячие – прямо из булочной наискосок.

Пеклись они по особому заказу. К определенному часу с корзинкой, обернутой мешком, за ними прибегала дворничиха. Бублики были большие, румяные, из желтого пахучего теста, плотного, как просфора.

Но сегодня чаепитие Петра Петровича было нарушено мальчишкой из бакалейной лавки, прибежавшим звать Горина к телефону.

То ли из экономии, то ли из других каких соображений, но Горин решительно отказывался пустить к себе в дом телефонный аппарат. Черное ухо трубки казалось ему подозрительным, словно было способно подслушивать.

Разговор по телефону был непродолжительным и со стороны Горина сводился к неясным междометиям. Но содержание его, по-видимому, не понравилось Петру Петровичу. Он помрачнел и, вернувшись к себе, даже не допил чая. Посидев некоторое время в раздумье, побрился и стал одеваться, но не в свой обычный заношенный сюртук прошлого века, а в новую пиджачную тройку.

Лесная биржа «Иван Паршин»

Иван Петрович Паршин – владелец небольшой лесной биржи на Сретенке – повесил телефонную трубку на рычаг аппарата и несколько мгновений стоял и глядел на нее, мысленно проверяя: все ли сделано?

Потом с удовлетворением потер одну о другую большие сильные руки и, солидно откашлявшись, медленно пошел прочь. Все его движения были неторопливы, солидны – под стать его большому, крепкому телу и спокойному выражению благообразного лица.

Иван Петрович медленно прошелся по комнатам небольшой, добротной, но без особой нарядности обставленной квартиры. Его взгляд с удовольствием останавливался на деталях обстановки: на мебели, на серебре, украшающем горку.

Когда Иван Петрович вошел в столовую, то почти с тем же выражением спокойного любования, с каким оглядывал вещи в других комнатах, остановил взгляд и на красивом лице женщины, сидевшей во главе стола. Она была крупна, белотела, но полна не более, чем следует женщине, желающей сохранить фигуру. Пышные светлые волосы были уложены в модную прическу, с большим валиком над высоким крутым лбом.

При виде Паршина ясные голубые глаза Фелицы вспыхнули, и вся она одним движением сильного тела потянулась к нему. С поднятыми руками она ждала его приближения. И как только он подошел и спокойно нагнулся, чтобы поцеловать ее, полные белые руки крепко обвились вокруг его могучей шеи.

Но он отстранил руки Фелицы и спокойно-ласково, немного покровительственно похлопал ее по спине.

– Садись же, – сказала она Паршину, – все стынет.

– Есть не стану, и кататься нам нынче тоже не придется, – ответил он, закуривая. – У меня деловое свидание.

– Значит, до ночи?

– Может статься.

– Пить станете?

– Ты меня знаешь.

В этом замечании было столько уверенности в себе, что она засмеялась. Она действительно хорошо знала, что нет силы, которая вывела бы его из равновесия. На людях он был тот же, что дома: всегда ровный, немногословный, владеющий собою.

При помощи Фелицы Паршин не спеша тщательно оделся. Она сама завязала на нем галстук острым большим треугольником, как учили в дорогом магазине, где всегда покупала ему белье.

Паршин хотел было надеть демисезонное пальто, но передумал. Не потому, что боялся холода, – он и в мороз мог бы пройтись в рубашке, – но нынче нужны были бобры.

Подъезд маленького особняка, в котором жил Паршин, выходил на просторный двор, занятый лесной биржей. Была в доме и другая маленькая дверь – в переулочек. Но она стояла заколоченной. Никто, кроме Паршина и Фелицы, не знал, что закрывающие вход доски приколочены только к полотну самой двери, а над косяками оставались одни шляпки ложных гвоздей в досках. Это был выход «на всякий случай».

Выйдя во двор, Паршин обошел штабеля желто-розовых досок, остро пахнущих подогретой солнцем смолой, остановился у одного из них и, прищурившись, словно оценивая, пригляделся. В глазах его было то же выражение любования, что и давеча в гостиной у горки и в столовой над красавицей Фелицей.

Заметив хозяина, из бревенчатой сторожки вышел приказчик и приблизился, сняв шапку.

– Ну как? – спросил Паршин.

– Тихо-с, – ответил приказчик таким тоном, будто был виноват в отсутствии покупателей.

– Ничего, – спокойно сказал Паршин, – сезон идет, покупатель будет.

Он и сам знал, что дела биржи идут неважно, и не слишком надеялся на их улучшение, так как местоположение его двора было неудачно. Но это его не беспокоило. Держал он биржу исключительно для маскировки своей основной профессии – взломщика-кассиста. Вот придет время – наворует он миллион, и лучшие московские места, самые солидные биржи и дворы украсятся вывеской Паршина. Вот тогда он станет настоящим лесопромышленником. Сколько народу будет толочься вокруг него: техники и архитекторы, разорившиеся помещики и ловкие перекупщики и само именитое московское купечество. И все будут глядеть ему в руки, а он будет решать. Одно движение его пальца будет значить больше, чем весь их гомон и суета. А из-под каждого топора лесоруба, из-под брызжущих опилками визгливых циркулярок в его карман, как щепки, будут лететь рубли. Эх, кабы не Фелицына жадность! Все отговаривает она его начинать. Берет после каждого удачного дела деньги и прячет куда-то. И ему не говорит куда. Кое-что на жизнь истратит либо на наряд – только это и утекает, – а все остальное в кубышку. Сколько у нее там уже собрано? Должно быть, много. Пустить бы все в оборот, можно бы и успокоиться. «Эх, Фелица, Фелица, ненасытный твой рот! В миллионщицы смотришь!»

Он усмехнулся и вышел за ворота. На углу Пушкарева кликнул извозчика и весело бросил:

– На Никольскую... «Славянский базар», двугривенный.

Это прозвучало так уверенно, что извозчик даже не пробовал торговаться: барин цену знал.

«Славянский базар»

В полутемном «кабинетском» коридоре «Славянского базара» царила тишина. Толстая плюшевая дорожка окончательно скрадывала и без того неслышные шаги половых, ходивших в штиблетах на мягких подошвах без каблуков. Да к тому же и время завтраков – наиболее оживленное в «Славянском базаре» – прошло. Зал почти опустел, кабинеты освобождались один за другим. И лишь в одном из больших кабинетов, обставленном алой атласной мебелью с золотом и обильно увешанном зеркалами, лакеи только еще заканчивали сервировку. Их движения были ловки и точны. О скатерть, до того белую и до того наутюженную, что в нее можно было глядеться, как в зеркало, ломался свет люстры. Лучи его ударяли в хрусталь и дробились на тысячу тонких стрел, словно отбрасываемых девственным снегом.

В стороне, подрагивая коленками и глядя на лаковые носки своих щегольских ботинок на пуговках, расхаживал Грабовский. В его обязанность как младшего входило являться первым и заказывать кабинет для встречи шайки. Вершинин и Горин пришли следом, почти одновременно. Не было только Паршина.

– Пожалуй, можно и заказывать, – сказал Грабовский, но Горин сердито махнул на него:

– Ну, ну, знаем мы тебя! Без порток уйдем. Пускай уж Федор Иванович, у него это дешевле выходит.

Действительно, Вершинин умел с блеском заказать обед, не вгоняя его в несусветную сумму. Он поудобней уселся в кресле, движением пальца подозвал старого полового и сложил руки на животе, предвкушая обильную и вкусную еду. Он не любил тратить деньги, но поесть любил.

– Хвастайся, господин министр, – приказал он.

Половой – старик с подусниками, делавшими его похожим на Горемыкина, – принялся не спеша докладывать.

Вершинин слушал, переспрашивал и вдумчиво составлял меню.

Пальцы Горина, по мере того как он слушал, все крепче сжимались, и наконец, не выдержав, он недовольно прогнусавил:

– Может, хватит? И так в трубу пустите.

Вершинин не успел ответить. Дверь кабинета отворилась, и на пороге показался Паршин. Он окинул всех внимательным взглядом.

– Честной компании!

Грабовский громко щелкнул каблуками и пробурчал:

– Здравия желаю!

Вершинин сделал ручкой. Горин же, глядя исподлобья, молча и отрывисто кивнул головой.

Заказы были закончены, блюда появились на столе. Сообщники уселись. Разговор велся с виду самый незначительный. Только изредка, когда заговаривал Паршин, все становилось внимательным. Но и слова Паршина не содержали ничего такого, за что сыскная полиция сказала бы «спасибо» прислушивающимся половым.

Секрет конспирации был прост: единственное, что между другими разговорами узнал у каждого из сообщников Паршин, – готовы ли они принять участие в крупной сделке с Шуйской мануфактурой. Речь шла о «поставке» на несколько десятков, а может быть, и на всю сотню тысяч.

Подробности дела, общий план и распределение обязанностей каждого участника должны были быть обсуждены Паршиным с каждым в отдельности на обычном месте свиданий – в сквере у храма Христа-Спасителя.

Члены шайки любили это место. Оно было достаточно уединенным в ранние часы дня. Благодаря высокому расположению из сквера были видны все подходы к храму. Эта исключало возможность слежки. Хотя все были уверены в чистоте своего кильватера, но... осторожность не мешает.

Вместе все четверо сходились чрезвычайно редко и не иначе как в дорогих ресторанах вроде «Славянского базара», трактира Тестова или даже в ресторане гостиницы «Метрополь». И никогда не собирались в ресторанах или трактирах средней руки, где любило бывать купечество. Мозолить глаза тем, кто в большинстве случаев становился их жертвами, было опасно.

В этот день у двух членов шайки – у Грабовского и Вершинина – имелись причины для хорошего настроения. Может быть, в силу этого нынешний обед, против обыкновения, несколько и затянулся. Наконец Паршин поднялся. Друзья разошлись поодиночке. Грабовский поехал в Петровский парк, к цыганам, Вершинин – к сестре, за спрятанной пачкой кредиток. Горин поскорее шмыгнул прочь от подъезда, чтобы швейцар не видел, что он пошел пешком. Паршин поехал домой. Он вообще не любил ни театров, ни женщин легкого поведения и свободные вечера просиживал дома. Сегодня же его тем более никуда не тянуло: ведь до утра нужно было обдумать детали сложного «дела» и распределить обязанности между участниками. Это было первое «дело» такого масштаба. Предстояло взять кассу правления одной из крупнейших мануфактур в Ветошном ряду.

Паршин решил взять ее без подвода, то есть без участия кого-либо из служащих правления. Обычно их привлекали для осведомления о царящих в конторе порядках, времени прихода и ухода служащих, артельщиков, о способе хранения денег, системе охраны, системе несгораемых шкафов и т. д. Подвод значительно ускорял и упрощал дело, но стоил дорого. Однако в решении Паршина обойтись без подводчиков играло роль не желание сэкономить десять процентов добычи. Паршин никогда не экономил на организационных расходах. Но на этот раз он считал, что «дело» слишком крупное, мануфактура большая, со связями, поднимется шум, будет поставлена на ноги вся сыскная полиция. Начнут трясти всех и вся. Подводчик может не выдержать и выдаст. А если и не завалит сразу, то может попасться позже, когда пустит в ход полученные от грабителей деньги. В таком деле лучше было обойтись без риска, своими силами, хотя бы это и потребовало большего времени для подготовки.

Начать дело нужно было с очень тщательной разведки в недрах правления. Вершинину следовало выяснить платежные планы правления: какие предстоят получения, платежи, когда можно ждать наличия больших денег? Вершинину, с его обходительностью и способностью пускать пыль в глаза воображаемыми делами, это легче всех.

Грабовский пойдет по своей линии: займется молодым поколением правленцев и сыновьями тузов. Эти день и ночь таскаются по Ярам и Стрельнам. «Корнет» начнет знакомство бегами, кончит цыганами и выведает у купчиков все, что требуется, о распорядках правления...

Горин будет обрабатывать артельщиков: каков порядок хранения денег в кассе, их сдачи в банк, приема от клиентов? А самому Паршину предстоит высмотреть, в какой комнате какой шкаф стоит, в каком из них деньги, надо уточнить систему шкафов, размер, фирму – все это имеет значение для выбора способа взлома и инструмента. Правда, для Паршина все это было заранее почти predetermined. Способ, при котором пускают в ход пламя кислородного аппарата и выжигают кусок стенки шкафа, в России почти не употреблялся. Шайка поляков привозила как-то американский аппарат, но никто из русских кассистов аппаратом не заинтересовался: возни с ним не оберешься, и принадлежности доставать негде, и кислорода наищешься...

Излюбленные инструменты Паршина были до смешного просты. Силенкой Бог его не обидел, и ежели только приделать к гусяной лапе хороший рычаг, Паршин, почитай, всякий

шкаф вскроет, как консервную банку. Главное – не обмишуриться шкафом и убедиться в том, что инструмент его возьмет, а тогда...

Паршин оторвался от своих мыслей и, оглянувшись, увидел, что подъезжает к Сретенским воротам.

– А ну-ка, поворачивай на Трубу, – сказал он извозчику.

С Трубной он велел повернуть к Самотеке, поднялся по Садовой к Епархиальному училищу и дальше переулками доехал до Оружейного. Там он отпустил извозчика и пошел пешком.

Оба куркинские

В одной из Тверских-Ямских в темном дворе Паршин уверенно отыскал низкую дверь полуподвала и постучал. Тут жил слесарь Ивашкин – старый поставщик инструмента для взломов, обслуживавший Паршина. Паршин знал, что с инструментом Ивашкина он уверенно может идти на любое дело, – не подведет, не сломается в критический момент. За свое искусство Ивашкин и получал твердую долю со всех дел, где Паршин работал его инструментом, – пять процентов.

Заказав Ивашкину необходимый инструмент, Паршин поехал домой.

Ванька ему попался плохонький – еле тащился. Паршин машинально прислушивался к столь же тщетному, сколь непрерывному, извозчичьему «ну-ну», на которое жалкая клячонка не обращала никакого внимания.

Выведенный из себя возница привстал на козлах и, привалившись животом к передку пролетки, принялся стегать лошадь. С неожиданным интересом Паршин следил за взмахами извозчичьей руки и прислушивался к хлестким ударам кнута.

– Будет, ну тебя! – с досадой сказал Паршин.

– Да как же, ваше степенство! Кабы я не понимал, кого везу, а то видишь... У, тварь! – и извозчик снова размахнулся. – Ее кормишь, кормишь, а она...

– Врешь ведь, – проговорил Паршин. – Небось и забыл, когда последний раз овес давал.

– Овес?! Мы на сечке. С брюха смотрит как жеребая, а силы-то и нету.

– Так бы и говорил – сечка! А то «кормим»... – Паршин поглядел на залатанный, выцветший кафтанишко возницы, на нескладные большие рукавицы, перевел взгляд на испитое лицо с обвислыми, словно выдерганными усами и редкой бородежкой.

– В отхожем, что ли?

– А то как же. В отхожем.

– Так тебе бы давно уже в деревню пора.

– А то как же, пора.

– Чего же ты тут маешься?

– Маюсь. А то как же?..

Извозчик сел совсем боком и принялся рассказывать Паршину длинную историю о том, как он всю зиму мается в Москве, как невозможно стало свести концы с концами, так как он – один мужик на весь двор. А тут еще сноха-солдатка погорела, так и вовсе хоть плачь. Заработал полтора за зиму – все в деревню отправил. Теперь вот нечем хозяину извозного двора за солому платить...

– А ты из каких?

– Куркинские мы.

– Михайловской волости? – подавшись всем телом вперед, быстро спросил Паршин.

– Михайловской. А то как же?.. Да вы нешто знаете?

Паршин внезапно умолк. Извозчик, привыкший ко всяким седокам, попробовал было еще говорить, но, увидев, что седок уткнулся носом в шубу, снова повернулся к своей клячонке и принялся чмокать.

А Паршин исподлобья глядел на его выгнутую кренделем спину и думал. Думал о родном Куркине, из которого ушел молодым парнем, о том, что, наверно, в Куркине и сейчас много таких вот мужиков, готовых целую зиму промаяться на морозе, без сна, впроголодь, чтобы отдать погоревшей снохе полторы сотни, собранные по двугривенным, по четвертакам, выстеганные из костлявой спины клячонки. И сколько такой мужик переживает за свою долгую жизнь, что ездит извозчиком! Сколько добра и зла пройдет перед его глазами. Сколько воров, громил и убийц перевозит он, каких разговоров наслушается по чайным, как наудивляется

легкой жизни господ и разных лихих любителей чужого добра! И ни разу не шевельнется у него мысль, что-де можно бы и самому попробовать этой легкой жизни. Что ему стоило бы темной ночью скинуть где-нибудь в переулке пьяного седока или ограбить старушку, что попросила его подождать с вещами у дверей? А ведь вот не соблазнился же он этой жизнью, не пошел ни на кражу, ни на убийство! Так почему же он, Паршин...

Паршин еще глубже уткнул лицо в бобры и ниже надвинул шапку, словно боялся, что мысли его звучат на всю улицу. Не впервой приходило ему в голову это «почему». Почему все-таки большинство людей не соглашается свернуть на ту дорогу, которой пошел он, Паршин? Боятся? Нет, он знает среди честных людей вовсе не трусов. Недостаточно умны? Ерунда! Среди честных людей гораздо больше умных, чем среди воров. Слишком умны? Тоже неверно. Свет полон честных дураков. Ага, вероятно, дело в условиях, с молодости определивших путь того или иного человека.

Скажем, Вершинин привык к чистой, сытой жизни, занимал хорошее положение. Легко ли сказать: правитель дел железной дороги! И всего-то одна маленькая слабость была у него – картишки. Любил метнуть банк в клубе. И дометался. Проиграл казенные деньги, пробовал отыграться – пустил в ход приданое жены. Не зря, видать, говорят: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался». Просадил Вершинин и приданое. Занял где мог – тоже проиграл. Отдавать нечем. Тут и подвернулся первый плохо лежавший чужой бумажник. Соблазнился, и... пошло.

Вершинин думает, будто Паршин не знает, что у «барина» в душе делается, воображает, будто подработает еще малую толику – и заживет как порядочный. Нет, брат, шалишь! Ступивший на этот путь редко с него сходит. Возьми он на удачном «деле» хоть миллион – теперь уже не остановиться. Горин – пример. Что ему нужно? Живет сурком, жует свои баранки. Неужто ж для этого мало дохода с дома? Жить бы да жить! Нет, черт его задави! «Ладно, иди служить». Не так голова, говорит, устроена. «Открой торговлишку». Процент, видишь, мал. «Играй на бирже». Рискованно! Зачем самому торговать, когда другие торгуют? Зачем рисковать, ежели другие за тебя рискуют? Вот Горину и полюбилось чужое. Запустил лапу в чужую кассу – и вся недолга. Да мало ему еще чужой кассы, он, подлец, думает, что Паршин не знает про его делишки с фальшивыми кредитками. Нет, брат, Паршин все знает! Ты верно считаешь, да не совсем. За паршинские-то дела – много-много тюрьма, а казна обижать себя не дает. За одну фальшивую «сашеньку» – полпрически долой, и притом без срока. И во имя чего? Ну, пусть втрое, впятеро, вдесятеро больше денег будет – толк-то какой? Опять те же опорки на босу ногу, баранки к чаю и старая баба на пуху... А взять хотя бы этого стрекулиста Грабовского. Пришлось ему похерить свое графство. Не со стыда, конечно, – от неудобства. Граф – на виду, заметно. Эдак, в старой венгерке-то, легче. Украл деньги товарища, опозорил полк, офицерское свое звание. Перевернулись твои деды-графы в гробах? Пуля в лоб – и дело с концом. Так нет, жить захотелось. И не как-нибудь, не с согнутой спиной, а все так же: возле лошадок, хотя бы и чужих, возле цыганок, хоть и не первого сорта. А ежели встретит где бывшего товарища офицера, отвернется – не велика беда. В морду бросят «прохвоста» – утрется...

Паршин из-под надвинутой шапки поглядел на сутулую извозчицью спину... Куркинский! Вот и он, Паршин, куркинский. У извозчика за зиму – полтора ста рублей, а у Паршина тысяч пятнадцать перебивало. А что толку? Извозчик на своей дрянной клячонке вот-вот в Куркино вернется, там хоть изба – его да двух сыновей-солдат. А от Паршина с его тысячами? Даже памяти в родном селе не осталось. А хорошо бы плюнуть на все – и домой. Скинуть бы эти бобры, засучить рукава – да обратно в сельскую кузницу! Веселый звон наковальни и жар горна, подковы, рессоры, ободья, шкворни да тяжи... А к вечеру истома во всем теле. Дыхание размокшей земли и лопающейся почки, первые девичьи песни по весне, когда девкам еще в поле делать нечего, а весна пришла и спать не хочется. А он-то, кузнец, свое отзвонил и свободен! Забот никаких... Да-а! А главное – нет вот этого сосущего страха: как бы не сделать

неверного шага! В деревне – все шаги верные, не то что здесь: ни на «деле», ни просто на улице, ни дома, ни вот сейчас, в извозничьей пролетке, нигде нет уверенности, что не следят за тобой зоркие глаза, напавшие на твой след, отмечающие каждый твой шаг, выжидающие только одного – поймать с поличным. Паршин отлично понимает: неизбежное – неизбежно. В тот первый день, когда сошел с прямого пути, он сам подписал себе верный приговор. От этого приговора не уйдешь никуда. Рано или поздно, на большом «деле» или на пустяках, но... Сегодня замели следы, завтра откупились от шпика, послезавтра еще как-нибудь, ну, а там... Там решетка и серый халат. А Фелица? Вот в Фелице-то главная заковька и есть. Кабы не Фелица, он бы сегодня же, сейчас вот повернул извозчика к вокзалу, взял билет – и долой с московской дорожки. Пока не поздно, пока голова да случай сберегли от каторжного клейма. А то дорога известная: тюрьма, каторга, Сибирь, побег, и в опорках, в тряпье – Хива. Тогда уже наверняка та самая Хива, о которую он теперь и сапог марать не станет. Тогда уж не миновать Сухого оврага.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.